

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Оставь; что тебе до нас,
Иисус Назарянин?¹

ГЛАВА I

Артур сидел в библиотеке духовной семинарии в Пизе и просматривал стопку рукописных проповедей. Стоял жаркий июньский вечер. Окна были распахнуты настежь, ставни наполовину притворены. Отец ректор, *каноник* Монтанелли, перестал писать и с любовью взглянул на черную голову, склонившуюся над листами бумаги.

— Не можешь найти, *сагино*?² Оставь. Придется написать заново. Я, вероятно, сам разорвал эту страничку, и ты напрасно задержался здесь.

Голос у Монтанелли был тихий, но очень глубокий и звучный. Серебристая чистота тона придавала его речи особенное обаяние. Это был голос прирожденного оратора, гибкий, богатый оттенками, и в нем слышалась ласка всякий раз, когда отец ректор обращался к Артуру.

— Нет, *padre*³, я найду. Я уверен, что она здесь. Если вы будете писать заново, вам никогда не удастся восстановить все, как было.

Монтанелли продолжал прерванную работу. Где-то за окном однотонно жужжал майский жук, а с улицы доносился протяжный, заунывный крик торговца фруктами: «*Fragola! Fragola!*»⁴

¹ Слова бесноватого из Евангелия, обращенные к Христу.

² Дорогой (*итал.*).

³ Отец (*итал.*); у итальянцев — обычное обращение к священнику.

⁴ «Земляника! Земляника!» (*итал.*)

— «Об исцелении прокаженного» — вот она!

Артур подошел к Монтанелли мягкими, неслышными шагами, которые всегда так раздражали его домашних. Небольшого роста, хрупкий, он скорее походил на итальянца с портрета XVI века, чем на юношу 30 годов из английской буржуазной семьи. Слишком уж все в нем было изящно, словно выточено, длинные стрелки бровей, тонкие губы, маленькие руки, ноги. Когда он сидел спокойно, его можно было принять за хорошенькую девушку, переодетую в мужское платье; но гибкими движениями он напоминал прирученную пантеру, — правда, без когтей.

— Неужели нашел? Что бы я без тебя делал, Артур? Вечно все терял бы... Нет, довольно писать. Идем в сад, я помогу тебе разобраться в твоей работе. Чего ты там не понял?

Они вышли в тихий тенистый монастырский сад. Семинария занимала здание старинного *доминиканского* монастыря, и двести лет назад его квадратный двор сохранился в безупречном порядке. Ровные бордюры из бруска окаймляли аккуратно подстриженный розмарин и лаванду. Монахи в белой одежде, которые когда-то ухаживали за этими растениями, были давно похоронены и забыты, но душистые травы все еще благоухали здесь в мягкие летние вечера, хотя уже никто не собирал их для лекарственных целей. Теперь между каменными плитами дорожек пробивались усики дикой петрушки и водосбора. Колодец среди двора зарос папоротником. Запущенные розы одичали; их длинные спутанные ветки тянулись по всем дорожкам. Среди бруска адели большие красные маки. Высокие побеги наперстянки склонялись над травой, а бесплодные виноградные лозы, покачиваясь, свисали с ветвей боярышника, уныло кивавшего своей покрытой листьями верхушкой.

В одном углу сада поднималась ветвистая магнолия с темной листвой, окропленной там и сям брызгами молочно-белых цветов. У ствола магнолии стоя-

ла грубая деревянная скамья. Монтанелли опустился на нее.

Артур изучал философию в университете. В тот день ему встретилось трудное место в книге, и он обратился за разъяснением к раде. Он не учился в семинарии, но Монтанелли был для него подлинной энциклопедией.

— Ну, пожалуй, я пойду, — сказал Артур, когда непонятные строки были разъяснены. — Впрочем, может быть, я вам нужен?

— Нет, на сегодня я работу закончил, но мне бы хотелось, чтобы ты немного побыл со мной, если у тебя есть время.

— Конечно, есть!

Артур прислонился к стволу дерева и посмотрел сквозь темную листву на первые звезды, слабо мерцающие в глубине спокойного неба. Свои мечтательные, полные тайны синие глаза, окаймленные черными ресницами, он унаследовал от матери, уроженки Корнуэлла. Монтанелли отвернулся, чтобы не видеть их.

— Какой у тебя утомленный вид, *carino*, — проговорил он.

— Что поделаешь...

В голосе Артура слышалась усталость, и Монтанелли сейчас же заметил это.

— Напрасно ты спешил приступать к занятиям. Болезнь матери, бессонные ночи — все это изнурило тебя. Мне следовало настоять, чтобы ты хорошенько отдохнул перед отъездом из *Ливорно*.

— Что вы, раде, зачем? Я все равно не мог бы остаться в этом доме после смерти матери. Джули довела бы меня до сумасшествия.

Джули была жена старшего сводного брата Артура, давний его недруг.

— Я и не хотел, чтобы ты оставался у родственников, — мягко сказал Монтанелли. — Это было бы самое худшее, что можно придумать. Но ты мог принять приглашение своего друга, английского врача. Про-

вел бы у него месяц, а потом снова вернулся к занятиям.

— Нет, padre! Уоррены — хорошие, сердечные люди, но они многого не понимают и жалеют меня — я вижу это по их лицам. Стали бы утешать, говорить о матери... Джемма, конечно, не такая. Она всегда чувствовала, чего не следует касаться, — даже когда мы были еще детьми. Другие не так чутки. Да и не только это...

— Что же еще, сын мой?

Артур сорвал цветок с поникшего стебля наперстянки и нервно сжал его в руке.

— Я не могу жить в этом городе, — начал он после минутной паузы. — Не могу видеть магазины, где она когда-то покупала мне игрушки; набережную, где я гулял с нею, пока она не слегла в постель. Куда бы я ни пошел — все то же. Каждая цветочница на рынке по-прежнему подходит ко мне и предлагает цветы. Как будто они нужны мне теперь! И потом... кладбище... Нет, я не мог не уехать! Мне тяжело видеть все это.

Артур замолчал, разрывая колокольчики наперстянки. Молчание было таким долгим и глубоким, что он взглянул на padre, недоумевая, почему тот не отвечает ему. Под ветвями магнолии уже сгушались сумерки. Все расплывалось в них, принимая неясные очертания, однако света было достаточно, чтобы разглядеть мертвенную бледность, разлившуюся по лицу Монтанелли. Он сидел, низко опустив голову и ухватившись правой рукой за край скамьи. Артур отвернулся с чувством благоговейного изумления, словно нечаянно коснувшись святыни.

«О боже, — подумал он, — как я мелок и себялюбив по сравнению с ним! Будь мое горе его горем, он не мог бы почувствовать его глубже».

Монтанелли поднял голову и огляделся по сторонам.

— Хорошо, я не буду настаивать, чтобы ты вернулся туда, во всяком случае теперь, — ласково проговорил

он. — Но обещай мне, что ты отдохнешь по-настоящему за летние каникулы. Пожалуй, тебе лучше провести их где-нибудь подальше от Ливорно. Я не могу допустить, чтобы ты совсем расхворался.

— Padre, а куда поедете вы сами, когда семинария закроется?

— Как всегда, повезу воспитанников в горы, устрою их там. В середине августа из отпуска вернется мой помощник. Тогда отправлюсь бродить в Альпах. Может быть, ты поедешь со мной? Будем совершать в горах длинные прогулки, и ты ознакомишься на месте с альпийскими мхами и лишайниками. Только боюсь, тебе будет скучно со мной.

— Padre! — Артур сжал руки. Этот привычный ему жест Джули приписывала «манерности, свойственной только иностранцам». — Я готов отдать все на свете, чтобы поехать с вами! Только... я не уверен...

Он запнулся.

— Ты думаешь, мистер Бертон не разрешит тебе?

— Он, конечно, будет недоволен, но помешать нам не сможет. Мне уже восемнадцать лет, и я могу поступать как хочу. К тому же Джеймс ведь мне только сводный брат, и я вовсе не обязан подчиняться ему. Он всегда недолюбливал мою мать.

— Все же, если мистер Бертон будет против, я думаю, тебе лучше уступить. Твое положение в доме может ухудшиться, если...

— Ухудшиться? Вряд ли! — горячо прервал его Артур. — Они всегда меня ненавидели и будут ненавидеть, что бы я ни делал. Да и как Джеймс может противиться, если я еду с вами, моим духовником?

— Помни: он *протестант*! Во всяком случае, лучше написать ему. Посмотрим, что он ответит. Побольше терпения, сын мой. В наших поступках мы не должны руководствоваться тем, любят нас или ненавидят.

Это внушение было сделано так мягко, что Артур только чуть покраснел, выслушав его.

— Да, я знаю, — ответил он со вздохом. — Но ведь это так трудно!

— Я очень жалел, что ты не мог зайти ко мне во вторник, — сказал Монтанелли, резко меняя тему разговора. — Был епископ из Ареццо, и мне хотелось, чтобы ты его повидал.

— В тот день я обещал быть у одного студента. У него на квартире было собрание, и меня ждали.

— Какое собрание?

Артур несколько смутился.

— Вернее... вернее, не собрание... — сказал он, запинаясь. — Из Генуи приехал один студент и произнес речь. Скорее это была лекция...

— О чем?

Артур замялся.

— Padre, вы не будете спрашивать его фамилию? Я обещал...

— Я ни о чем не буду спрашивать. Если ты обещал хранить тайну, говорить об этом не следует. Но, я думаю, ты мог бы довериться мне.

— Конечно, padre. Он говорил... о нас и о нашем долге перед народом, о нашем... долге перед самими собой. И о том, чем мы можем помочь...

— Помочь? Кому?

— Contadini¹ и...

— И?

— Италии.

Наступило долгое молчание.

— Скажи мне, Артур, — серьезным тоном спросил Монтанелли, повернувшись к нему, — давно ты стал думать об этом?

— С прошлой зимы.

— Еще до смерти матери? И она ничего не знала?

— Нет. Тогда это еще не захватило меня.

— А теперь?

¹ Крестьянам (*итал.*).

Артур сорвал еще несколько колокольчиков наперстянки.

— Вот как это случилось, padre, — начал он, опустив глаза. — Прошлой осенью я готовился к вступительным экзаменам и, помните, познакомился со многими студентами. Так вот, кое-кто из них стал говорить со мной обо всем этом... Давали читать книги. Но тогда мне было не до того. Меня тянуло домой, к матери. Она была так одинока там, в Ливорно! Ведь это не дом, а тюрьма. Чего стоит язычок Джули! Он один был способен убить ее. Потом зимой, когда мать тяжело заболела, я забыл и студентов и книги и, как вы знаете, совсем перестал бывать в Пизе. Если б меня волновали эти вопросы, я бы все рассказал матери. Но они как-то вылетели у меня из головы. Потом я понял, что она доживает последние дни... Вы знаете, я был безотлучно при ней до самой ее смерти. Часто просиживал у ее постели целые ночи. Днем приходила Джемма Уоррен, и я шел спать. Вот в эти-то длинные ночи я и стал задумываться над прочитанным и над тем, что говорили мне студенты. Пытался уяснить, правы ли они... Думал: а что сказал бы обо всем этом Христос?

— Ты обращался к нему? — Голос Монтанелли прозвучал не совсем твердо.

— Да, padre, часто. Я молил его наставить меня или дать мне умереть вместе с матерью... Но ответа не получил.

— И ты не поговорил об этом со мной, Артур! А я-то думал, что ты доверяешь мне!

— Padre, вы ведь знаете, что доверяю! Но есть вещи, о которых никому не следует говорить. Мне казалось, что тут никто не может помочь — ни вы, ни мать. Я хотел получить ответ от самого бога. Ведь решался вопрос о моей жизни, о моей душе.

Монтанелли отвернулся и стал пристально всматриваться в сумерки, окутавшие магнолию. Они были так густы, что его фигура казалась темным призраком среди еще более темных ветвей.

— Ну, а потом? — медленно проговорил он.

— Потом... она умерла. Последние три ночи я не отходил от нее...

Артур замолчал, но Монтанелли сидел не двигаясь.

— Два дня перед погребением я только о ней и думал, — продолжал Артур совсем тихо. — Потом, после похорон, я заболел и не мог прийти на исповедь. Помните?

— Помню.

— В ту ночь я поднялся с постели и пошел в комнату матери. Там было пусто. Только в алькове стояло большое распятие. Мне казалось, что господь поможет мне. Я упал на колени и ждал — всю ночь. А утром, когда я пришел в себя... Нет, padre! Я не могу объяснить, не могу рассказать вам, что я видел. Я сам едва помню. Но я знаю, что господь ответил мне. И я не смею противиться его воле.

Несколько минут они сидели молча, затем Монтанелли повернулся к Артуру и положил ему руку на плечо.

— Сын мой! — проговорил он. — Я не посмею сказать, что господь не обращался к твоей душе. Но вспомни, в каком ты был состоянии тогда, и не принимай болезненную мечту за высокий призыв господя. Если действительно такова была его воля — ответить тебе, когда смерть посетила твой дом, — смотри, как бы не истолковать ошибочно его слово. Куда зовет тебя твое сердце?

Артур поднялся и ответил торжественно, точно повторяя слова катехизиса:

— Отдать жизнь за Италию, освободить ее от рабства и нищеты, изгнать австрийцев и создать свободную республику, не знающую иного властелина, кроме Христа!

— Артур, подумай, что ты говоришь! Ты ведь даже не итальянец!

— Это ничего не значит. Я остаюсь самим собой. Мне было видение, и я исполню волю господя.

Снова наступило молчание.

— Ты говоришь, что Христос... — медленно начал Монтанелли.

Но Артур не дал ему закончить:

— Христос сказал: «Потерявший душу свою ради меня, сбережет ее».

Монтанелли оперся локтем о ветвь магнолии и прикрыл рукой глаза.

— Сядь на минуту, сын мой, — сказал он наконец.

Артур опустился на скамью, и Монтанелли, взяв его руки в свои, крепко сжал их.

— Сейчас я не могу спорить с тобой, — сказал он. — Все это произошло так внезапно... Мне нужно время, чтобы разобраться. Как-нибудь после мы поговорим об этом подробно. Но сейчас я прошу тебя помнить об одном: если с тобой случится беда, если ты погибнешь, я не перенесу этого...

— Padre!

— Не перебивай, дай мне кончить. Я тебе уже говорил, что у меня нет никого во всем мире, кроме тебя. Ты вряд ли понимаешь, что это значит. Трудно тебе понять: ты так молод. В твои годы я тоже не понял бы. Артур, ты для меня как... как сын. Понимаешь? Ты свет очей моих, ты радость моего сердца! Я готов умереть, лишь бы удержать тебя от ложного шага, который может погубить твою жизнь! Но я бессилён. Я не требую от тебя обещаний. Прошу только: помни, что я сказал, и будь осторожен. Подумай хорошенько, прежде чем решаться на что-нибудь. Сделай это хотя бы ради меня, если уж не ради твоей покойной матери...

— Хорошо, padre, а вы... вы... помолитесь за меня и за Италию.

Артур молча опустился на колени, и так же молча Монтанелли коснулся его склоненной головы. Прошло несколько минут. Артур поднялся, поцеловал руку каноника и, неслышно ступая, пошел по росистой траве. Оставшись один, Монтанелли долго сидел под магнолией, глядя прямо перед собой в темноту.